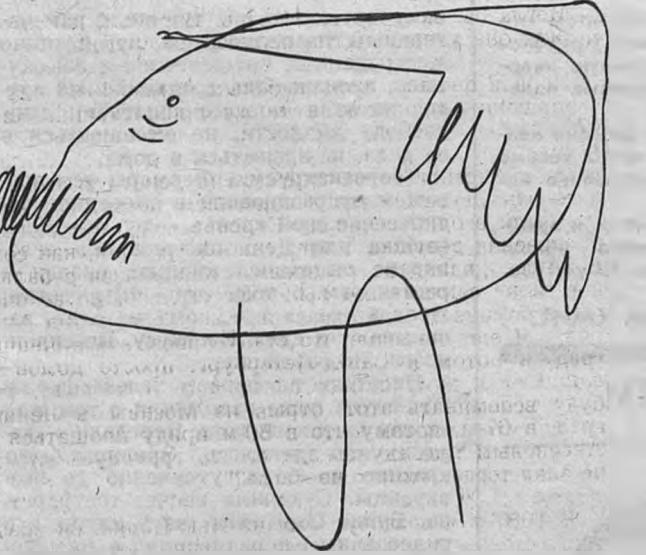


Акран и Сука. — 1992.
20-27 авг. — с. 8-9



— Василий Павлович, вы не жалеете, что однажды, в конце шестидесятых, в белые ночи, в Ленинграде вы не снялись в фильме Петра Тодоровского «Фокусники»?

— Я, в фильме Тодоровского! Первый раз слышу...»

(Из стенограммы встречи в Доме кино по случаю первого приезда Василия Аксенова после изгнания в родную страну.)

Этот вопрос в записке задал ему я, как бы послав только его ключу доступную шифрограмму, но зашифрованные смыслы эффекта никакого не возымели. Сюжет, который жил во мне почти четверть века, так и остался только моим сюжетом.

С чего это началось, я приблизительно помню. Марсейка, жара, шашлычная близ «Советского спорта», явление молодого полубога Виктора Агеева, которым бредили в то лето. Кто понимал, конечно. Он был большой, красивый и улыбался, как на ринге. Он улыбался, попасть же в него было невозможно. Его пытались бить, а он, прописывая и посыпавшись да и в том же опустив руки, всего лишь отклоняя голову, не давал коснуться ее кожаной перчаткой. Не в шашлычной, естественно, а на ринге. В шашлычной надо любить друг друга, что мы и делали.

Другим полубогом, но в летах, постарше, был Василий Аксенов. Его тоже пытались бить, и уклоняться было куда труднее, поскольку дело происходило не на ринге, потому он и не уклонялся, приучая себя держать удары. Тоже не в шашлычной, конечно.

Остальные были смертными. Мои друзья и недавние коллеги, два Александра — Марьямова и Нильин, — только что перешедшие из АПН в спортивную газету, демонстрировали высший класс ведения беседы: ни о чём не спрашивай, говори сам, и тогда тебе ответят даже на незданный вопрос. Словом, хорошо сидели в полном соответствии с самыми популярными в то время социалистическими прототипами — в обстановке взаимопонимания, а также дружеского и сердечного общения.

С какой стороны объявился Ленинград с его белыми ночами — объяснить не берусь. Да и не надо. Кто не знает, что нигде и никогда нет лучше времени, чем в Ленинграде и в белые ночи! Клич был брошен, маршируя намеченым, день отправления тоже — следующий вечер, — ибо этот был начисто занят. Аксенов впервые собирался прочесть для близкого круга «Затворенную бочкутару», Агеев торопился на «фактот», кто-то из них и не узнает никогда), остальным участникам экспедиции надо было подготовить тылы и домашних, что не всем, как выяснилось впоследствии, удалось.

Два года назад, во время итальянского чемпионата мира по футболу, мы с младшим братом (см. Соч. В. П. Аксенова), чего и представить себе невозможно, в набитом, как подносовая электричка, экспрессе Рим — Турин ехали на матч Бразилия — Аргентина. Ехали культурно, согласно купленным билетам, и комфортно, ибо заняли свою «плацкарту», еда подали поезд.

Где-то за Римом на первой станции в вагон вошла и устроилась близ нашего купе четверка юных шведов — три викинга и золотистолосая русалка. Они были в шортах, с рюкзаками за спиной и с бумажными пакетами еды в руках — сэндвичами, йогуртом, бананами и яблоками. Они заботливо передавали друг другу дорожные завтраки 90-го года, немножко поклонили перед русалкой, но явили собой умилительный пример дружеской компании, который, как и полагается умилительному примеру, вызвал благосклонное расположение на лицах окружающих.

* Самое распространенное свидетельство письменности на территории бывшего СССР.

Мы ни слова не сказали друг с другом, но я знал, что они. В моей седой голове зазвучали сигнальные звоночки совсем из другой эпохи. Я вдруг увидел воочию тех, чьи имена почти что позабыл, — аксено-ских Димку и Галку и их приятелей, чьи имена уж точно не помню.

Я их увидел сквозь шведские лица, и они задали мне вопрос: за что же нас так ненавидели тогда «старшие товарищи»? А, может, раньше, чем они спросили, у меня появился ответ, который в том прошлом историческом времени, что шло параллельно с моим личным, не находился.

Но сначала о том, почему он не находился. Аксенов в «Звездном билете» передал томление духа и тела такими, какими они и были в среде... надзатищих. Оттого все, кто знал, что это правда, зачитывали «Юность» до дыр. И «Галки», что вкусили запретного плода, и «Димки», что не могли защитить ни себя, ни своих возлюбленных.

В экспрессе Рим — Турин я понял — с заметным опозданием, — что не грех сковокуления — с чего же тогда так почитать Анну Карапину, Катюшу Маслову, Катерину Островскую, наконец? — а совсем другое ялялось предметом ненависти охранителей всех мастей к сочинениям Аксенова.

Его героев «старшие товарищи» ненавидели раньше всего за свободу передвижения, за отъезд, куда глаза глядят, который приравнивается к побегу и за который, как известно, открывают огонь без предупреждения.

В литературе можно было уезжать только в Сибирь или какую другую глушь, но непременно на стройку или в колхоз. Когда Аксенов не нарушил этих литературных правил игры в «Коллегах», он был вознесен на самый высший пьедестал, даже некоторое время реял над ним, как Буревестник. Но был немедленно высечен розгами, лишь только позволил своим героям ускользнуть за границу дозволенного.

Грачи. А у этого рубежа всегда две стороны. Одна дозволенная, а другая, если не понимаете какая, то и не подходите близко.

Надо отдать должное критике тех давних шестидесятых, той ее части, что топтала, душила, улюлюкала, предупреждала, доносила, поносила, и так далее в том же духе. Она была снайперски точна. Жертву свою выбирала на ином, была навсикдукой. Талант определял сразу, ибо таково уж его свойство — постоянно высвечиваться не там, где положено.

Она была смачно, с удовольствием, даже наслаждением. И закалала — спасибо ей — неслабых. И соединяла — спасибо ей — тех, кто был несведен. И приучала — спасибо ей — вдумчивых читателей понимать, что коль ругают, то прочитать надо обязательно.

Аксенова ненавидели и любили практически за одно и то же — за то, что в своих книгах он говорил: существует другая жизнь. Он стал моим писателем и остался таковым по сию пору именно по этой причине.

Мы договорились, что я заеду к Аксенову домой и отвезу его на аэропорт, поскольку по вызову студии он должен лететь в Таллинн. Схожий рейс объявился и у Саши Марьямова — по делам своей редакции ему больше подошла Рига. Я никуда не летел — просто был внимательным и хорошим другом, которому ничего не стоит смотреться во Внуково.

Мы ждали Васю, как было условлено, но он безнадежно опаздывал, и домашние волновались, как бы он вообще не опоздал на рейс. Но он все-таки появился, и не один, а с восхитительной покупкой, и чрезвычайно ею гордился — дюжины, наверное, трусов, белых, хлопковых, с вышивками и строчками, с хитроумным фигурным припуском, где положено, производство то ли Пакистана, то ли Индии — последний (или первый?) штрих элегантного мужского гардероба.

Достоинства трусов были несомненны, что на гляндо свидетельствовало о нашем все большем приобщении к мировой цивилизации, но даже я, с моей репутацией классного водителя, продлись разговор еще с минуту, уже никак не успел бы к рейсу. И потому от чай, от дома, от трусов мы выволокли довольного автора еще никем не читанной, но уже ульяновской и оцененной «Бочкутары» на простор другого замысла, который, правда, еще требовал соответственного воплощения.

— Надо заехать в ЦДЛ, — сказал В. П. — С нами хочет поехать Толя Гладилин. И, кажется, с девушкой. По-моему, замечательной.

Но Гладилин с нами не поехал, хотя вышел с девушкой к машине. Ей же, мне казалось, поехать хотелось. Это, наверно, и стало непреодолимым препятствием. Ибо удача достаточно известных и опытных инженеров человеческих душ без труда разбралась в отдельно взятой. А также в наших, взятых вместе. Удивительно, что постарались понравиться девушке с первого взгляда.

Компания сложилась сугубо мужская, в чем тоже немало плюсов. Правда, разговоры в таких компаниях попроще, зато ожиданий и надежд — различия не было. Господи, впереди ведь белые ночи.

Я позвонил откуда-то с Ленинградского проспекта домой В. П. и сказал, что на рейс он не опоздал. Вратя, конечно, не только стыдно, но и некрасиво, однако всегда можно так сказать, что врая будто никакого и нет. И мой 426-й «Москвич» в совсем уж темной Москве лег на намеченный курс.

Мои спутники, устроившись на заднем сиденье, принялись за походный ужин. С собой у них что-то было, как начали уже говорить совсем в другую

ему придется войти, надпись на языке своей души: «Здесь был Килрой».

Так писали американские солдаты во время второй мировой войны на стенах домов, входя в европейские города.

И если кому-то показался амбиционным заголовок статьи, что дочитана до этого места, та я скажу: Килрой как раз и имел в виду, написав «Вася». Ибо кто по-американски Килрой, тот по-русски Вася.

Памятники и исторические места на трассе Москва — Ленинград не кончились, но у моих спутников исчез повод обращать на них внимание, и они мирно засолели на заднем сиденье. Я ехал, ехал, и мне тоже безумно захотелось спать, что я и осуществил, съехав где-то под Новгородом на обочину, а потом на проселок, в рощицу, в темноту, в мгновенное забвение. Я проснулся от пения птиц и огляделся. Машина была пуста, вдаль паслось стадо и двигались по бокрайнему полю две маленькие фигуры. Солнце только оторвалось от этого поля и ярко разгоралось между небом и землей. Фигуры приближались и в темной бутылке с непогасшим в новом дне звездочками преподнесли мне поллитра парного тягучего молока.

Ну как передать упоение этим зарождающимся днем, упоение скоростью, свободой, летящими назад километрами? Только так — хорошо было очень.

А там шоссе плавно перетекло из Ленинградского проспекта в Московский, обернулось Фонтанкой, Невским, Птолеем мостиком, Дворцом Первой пятилетки. Его директору написал записку Тедик Гиршфельд, администратор «Современника», к которому мы заехали после расставания с Гладилиным, и просил подателю ее устроить в гостиницу. Он же, между прочим, и презентовал ту бутылку, не будь которой, не пить мне в чистом поле парного молока. Так в том мире было все материалистически связано и взаимопреплетено. Потому и получили мы потом за бешеные восемнадцать, кажется, рублей в сутки «люкс» в «Октябрьской», три пропуска к тому же на концерт Райкина, чем не премиум воспользоваться с большим наслаждением тем же вечером, но перед этим мы с Марьямовым попарились у Пяти Углов в бани, а Аксенов — нет, по причине плохого самочувствия, и, по-моему, я же не притронулся ни к одному раку, что громоздились после бани на пластмассовом столике какого-то пивного бара, куда взял да зашел, и не в том прелест, что раков закашал, а в том, что, как говорится, побрезгал ими.

Жаль, что вас не было с нами! Банально, конечно, после Аксенова раскачивать этот пароль молодости. Но в рассказе у писателя, помнится, дело кончилось компотом, что, конечно, много художественности и интересней.

У него вообще все интересно совпадает, один «Остров Крым» с его военно-физкультурным праздником чего стоит! Как какой-то рубеж в жизни, то тут же Олимпиада (это когда выгнали из СССР), как день рождения — то путь или август 68-го.

Некоторое время назад Аксенов пал жертвой некой газетной полемики. Евгений Евтушенко в «Литературке» и «Огоньке» опубликовал мемуары, где как раз и вспоминал август 68-го, погодав, как беспартийно они с Аксеновым осуждали в Коктебеле вторжение советских танков в Чехо-Словакию. Но при этом обмолвился, что было это после чьего-то дня рождения, чье, он не помнит, куда они были званы вместе с Аксеновым. Что же это за люди такие, если они даже не помнят, к кому ходят на день рождения, и как им можно после этого верить — так в огромной статье заключила мемуары «Советская Россия».

Свидетельству — Аксенов точно знал, на чьем дне рождения они были с Евтушенко, поскольку происходило это в канун вторжения, следовательно, 20 числа, когда и угадал его Бог родиться. Это во-первых. Во-вторых, я сам там был, еще были Сарнов, Балтер, других я, увы, не помню. А в разгар вечера появился только что приехавший Евтушенко. Так что вполне мог и забыть про день рождения, поскольку специально зван не был, а просто, узнав, что поблизости сидит хорошая компания, пересел через террасу, возникшую из темноты, и почти сразу начал читать стихи. Из-за чего потом образовался скандал, потому что скандал, потому что я стал объясняться ему, что день рождения не его. Потому, наверно, и выпала у него путаница.

А параллельно с этим, как у Зощенко, шло, ну, не большое крымское землетрясение, а событие куда поглубже — вторжение в Чехо-Словакию. Наверно, тогда и случился главный геологический катаклизм с мировой системой коммунизма. Она дала такую трещину, заделать которую было уже не под силу ни людям, ни самой истории.

Евтушенко же, вправду, вел себя мужественно — послал с коктебельской почты телеграмму протеста Брежневу. Аксенов, по-моему, телеграммы не посыпал, а про вечером 21-го мы, тихо разговаривали (в тот день все разговаривали тихо), или из Литфондовского дома в док Грабицкого. «Это конец, это позор никогда уже не отмыть», — тихо говорил В. П. А когда рядом проходили люди, он начинал кричать, чтобы было слышно всем: «Этого Брежнева, эту воиническую власть...» Жена одергивала, он снова начинал говорить тихо — до тех пор, пока рядом не появлялись новые прохожие.

Не спрашивал, но, наверно, тогда родился «Остров Крым».

Крым он любил и любит. Когда-то мечтал жить в нем всегда, иметь хороший дом с баром внизу и кабинетом наверху. Сидеть в кабинете затворником и писать, но изредка спускаться вниз, чтобы самому налить рюмочку дорогому гостю. Так — ремарковски-хемингуэевская фантазия.

И потому лучше всего его читать, что ни открыть.

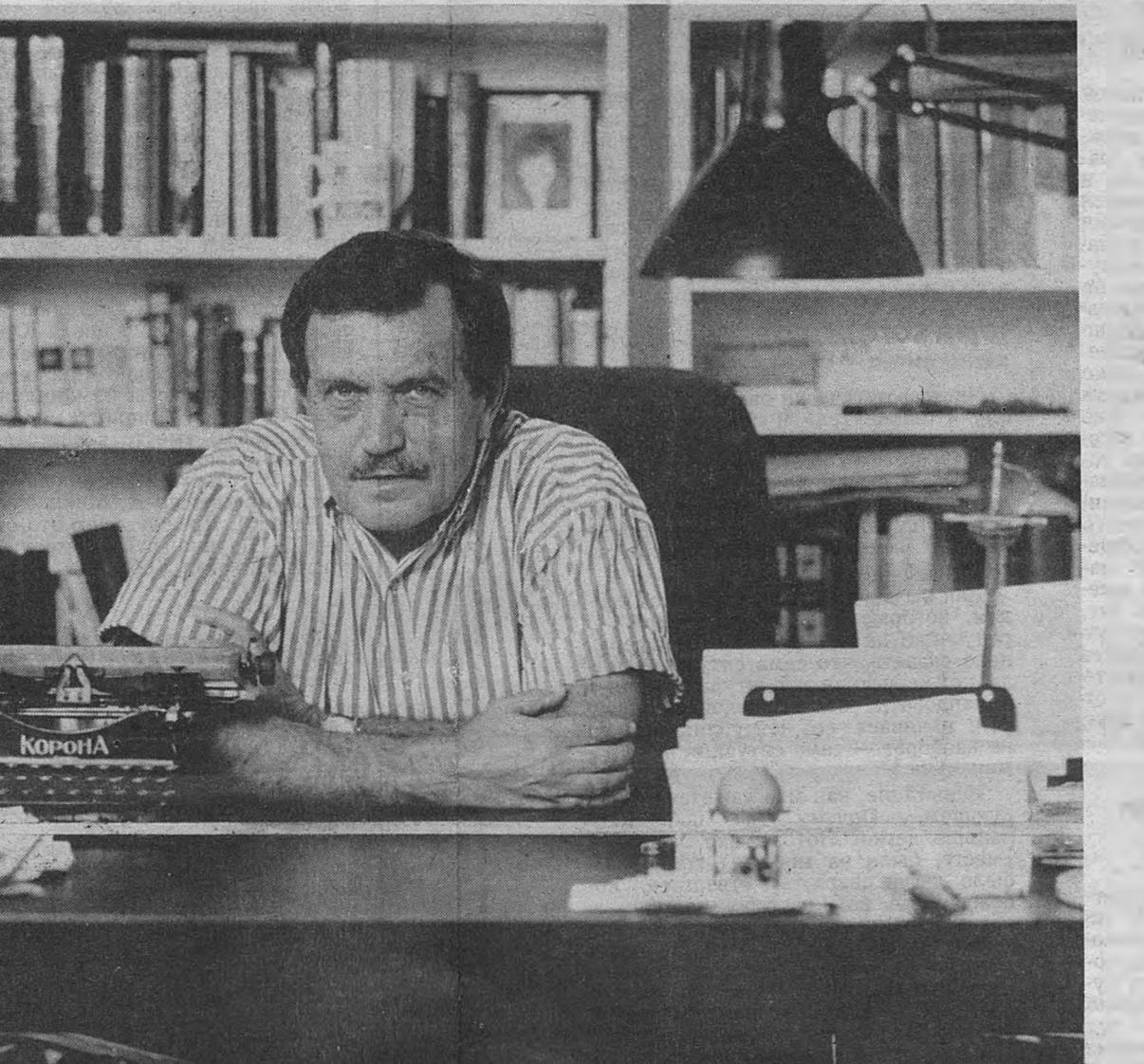
У него там про все сказано. Здесь был Вася.

Ал. АВДЕЕНКО.

Автограф исполнен В. Аксеновым специально для «ЭС» 15 августа.

Фото Валерия Плотникова.

ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ*



Сказав, что заграница нам поможет, и обманув тем самым своих компаньонов, Остап Бендер оказался прав в историческом плане. Заграница, на которую АПН обвязали пропагандировать советский образ жизни, действительно помогала. Хотя бы тем, что ей нужны были статьи и материалы тех и о тех, кого она знала.

В 1963 году в Ленинграде происходило сверхневероятное событие — заседание Европейского сообщества писателей, посвященное проблемам современного романа. Сверхневероятное по количеству представленных там европейских знаменитостей (Натали Сартр, Аллен Род-Грий — не хотите ли?) и по той обстановке закрытости и секретности, в которой оно проводилось. Это выездное шоу в город революции готовилось долго и тщательно, а когда все уже было определено и выверено, за несколько месяцев до открытия Никита Сергеевич Хрущев так напотал ногами и нахалом руками на писателей и режиссеров, поэтов и художников, скульпторов и артистов, что заседание оказалось под угрозой срыва. Он долго думал, а потом спросил: «Но про Китай-то почему нельзя?» Вот тогда я и покраснел, потому что был уверен, что речь идет о стране, которая даже не под силу было унести.

Аксенов пошел только «на зарубеж», а вот Аксенова печатали и безумные наши провинциальные комсомольские газеты. Отгадка проста — в пресс-группе про Эренбурга напомнили, кому он адресован, а про Аксенова нет. До сих пор не забыл, как называлась та статья — «Кардиограмма писательского сердца». Заголовок, пожалуй, выставленный и настолько чистоте, даже самому паршивому писцу не досталось бы ни одной жилочки.

На набережной Невы в писательском особняке три кордона пропускали в зал участников дискуссии, освещавшей ее доверили только ТАСС, АПН, «Литературную газету» и «Правду». И то при условии, что все материалы будут предварительно просмотрены пресс-группой, которую возглавлял Чаковский, а читали отчеты и рапорты лично заместитель председателя Идеологической комиссии ЦК КПСС и несколько сотрудников отдела пропаганды. Веселенская была командирована, так как апэзювом как раз оказался я, передав из Ленинграда материалов эдак пятнадцать.

Хвала Всевышнему, что операция, доступная современной медицине, никогда не осуществляется в литературе. Пересадка сердца тут невозможна. А еще существенной, что, как и в медицине, невозможна пересадка души.

Когда-то Фолкнер, выступая при вручении ему национальной премии, сказал, что художником он считает человека, который пытается, пусть очень неумело, вырезать на вратах забвения, в которые

Сегодня осуществить ее ничего не стоит. Но дом его в Вашингтоне. И там не стойка бара, а профессорская кафедра.